



РЯЗАНЬ
ИЗДАТЕЛЬ СИПНИКОВ
2010

ИРИНА КРАСНОТОРСКАЯ



КРИСТЬЮ И ПЕРОМ



ББК 85.153 (2)6
К78

Красногорская, И.К.
К78 Кистью и пером: историческая повесть / Ред. Т. Банникова;
худож. Т. Полищук. – Рязань: Издатель Ситников, 2010. –
176 с.: ил.
ISBN 978-5-902420-34-7

Эта повесть о юношеской, рязанской, поре жизни знаменитого гравёра Ивана Петровича Пожалостина; о людях, которые по мере своих сил и возможностей способствовали тому, чтобы одарённый юноша смог учиться в Петербургской Академии художеств; о культуре Рязани 50-х годов XIX века.

ББК 85.153 (2) 6

ISBN 978-5-902420-34-7

© Издатель Ситников, 2010
© Красногорская И.К., текст, 2010
© Полищук Т.С., оформление, 2010

*Посвящается памяти
художника и рязанского краеведа
С.В. Чугунова*

ОТ АВТОРА

Задумана эта книга была ещё в начале 70-х годов и не мной, а ныне покойным Сергеем Васильевичем Чугуновым. Художник по профессии, выпускник трёх художественных учебных заведений, он по-настоящему был увлечён историей, краеведением, хотя признан был и в своей профессиональной среде, стал членом Союза художников РСФСР. А один его авторитетный коллега как-то сказал мне: «Чугунов был бы одним из лучших наших графиков, если бы не его неумеренная страсть к краеведению».

Эта страсть нашла яркое отражение в его книгах, созданных в соавторстве с доктором искусствоведения Г.К. Вагнером и выпущенных многотысячными тиражами издательством «Искусство» в серии «Дороги к прекрасному». Сергей Васильевич освоил немало таких дорог, передвигаясь по ним на грузовых машинах, велосипеде, пешком, нередко ночуя в копнах соломы среди полей или на крылечках чужих неприветливых домов.

Большой учёный Г.К. Вагнер ценил в дилетанте С.В. Чугунове талант искусствоведа – исследователя – и, думаю, ещё жизненную силу, которая проявилась у того в детстве и давала ему возможность преодолевать всяческие препоны, воздвигаемые неласковой к нему судьбой. Дело в том, что переболев в раннем детстве скарлатиной, он лишился слуха, а потом и речи. «Мне была уготована судьба деревенского дурачка, – рассказывал Сергей Васильевич мне, – и, когда я на каникулах приезжал из Ленинграда и разгуливал по деревне в белых брюках, земляки с трудом верили, что это тот самый Сергунька Чугунов». Конечно, тому, что маленький инвалид стал полноценной, известной личностью, он был обязан помощи многих людей, но только помощи. Главное он сделал сам.

Меня с Сергеем Васильевичем связывали долгие годы творческой дружбы. В соавторстве мы написали две краеведческие книжки «Дом

на Большой улице» и «Там, за стенами седыми». Он периодически «забрасывал» меня маленькими записочками с информацией о каком-нибудь историческом лице или событии в расчёте, что эти сведения станут основой для какой-нибудь книги, и подбил меня написать о юношеском рязанском периоде жизни знаменитого гравёра Ивана Пожалостина. Героем повести, по его мнению, должен был стать, однако, не будущий гравёр, а добровольный наставник того – живописец Николай Иванов, творческая судьба которого сложилась не так счастливо, как у его ученика. Сергей Васильевич считал, что произошло это потому, что собственный талант Иванов принёс в жертву своему одарённому подопечному, и поэтому предлагал назвать повесть «Наставник». На соавторство в этой работе он не претендовал, поскольку хотел, чтобы повесть была художественным произведением. Он любил беллетризованную литературу на историческую тему, собирал её и был бы, наверное, удивлён, узнав, что она вытесняется теперь документальной прозой. В книгах он знал толк не только как коллекционер, но и как профессионал: был в начале 60-х годов художественным и техническим редактором Рязанского книжного издательства.

Увы, издательство действовало недолго. Оно уже не существовало, когда я принялась писать повесть – в стол: перспектива опубликовать её в Рязанском отделении издательства «Московский рабочий» была весьма призрачной. Издательство выпускало два художественных произведения в год. Правда, две главы из неё мне удалось опубликовать в 1995 году (как эссе) в коллективном сборнике «За синей птицей в облака». Сергей Васильевич отозвался на них присущей ему одобрительной фразой: «Продолжайте в том же духе». Продолжать было нечего: публикация от меня не зависела – и я отложила хлопоты по изданию повести до лучших времён.

Время между тем шло, меняло масштабы исторических личностей, правила издания литературы, полиграфические технологии. Стало возможным печатать книги с цветными иллюстрациями и в областных типографиях. В этой связи я вспомнила о своей залежавшейся в сундуке повести, да и богатый памятными датами 2009 год способствовал тому: две даты были связаны с ней – сто лет со дня смерти И.П. Пожалостина и 85 лет со дня рождения С.В. Чугунова.

Повесть пришлось реанимировать, добавить к ней две главы. За прошедшие годы у меня появились новые материалы. Благодаря им несколько изменилось моё представление о роли художника Иванова в судьбе Вани Пожалостина, и я по-другому назвала повесть и теперь в новом виде предлагаю её читателям XXI века.



ВЕСЕННИЙ СНЕГОПАД



тена напротив кровати была не розовато-кремовой, какой ей надлежало быть в погожее весеннее утро, не была она и пепельно-серой, какой становилась по утрам в ненастье, от неё исходил чистый, голубовато-сиреневый, слабый по тону, но режущий глаза свет.

– Это невероятно!– воскликнул Иванов и, решительно отбросив одеяло, прошлёпал к окну.

За окном лежал снег, свежий, пушистый, яркий. Лежал на крышах, на цветущих вишнях гимназического сада, на огромной клумбе красных тюльпанов. Сравнил классическое великолепие её шестигранной призмы с ординарной плоскостью двора, совершенно закрыл и дёрн бордюра, и ковровый узор декоративных травок, только с тюльпанами ничего не смог поделатъ – пышные, надменные, атели они под этой несвоевременной белизной, словно вышитые шелками на праздничной скатерти.

– Прелесть какая!– восхитился Иванов и, накинув халат, настезь распахнул окно.

В углу двора, у чёрного хода, кухарка директора гимназии раздувала самовар. Была она легко, по-летнему одета, рукава рубахи до локтей засучены, а вот на ногах красовались огромные подшитые валенки, правда с обрезанными голенищами.

– Даша, прелесть-то какая!– крикнул ей Иванов.

– Чего уж там, Николай Степанович, – вишенни не будет. Ежели даже цвет не померзнёт и к полудню снег растает, всё одно добра не жди, потому как по мокрому цвету пчела будет без толку елозить.

Даша разговаривала с тем небрежным превосходством, с каким разговаривают взрослые с детьми. Подобный тон в обращении к Иванову стал для неё привычным. Даша усвоила его год назад, когда Николай Степанович написал с неё, простой кухарки, портрет.

Ей не раз приходилось прежде видеть в богатых домах портреты. На них изображались дамы в немислимой красоты нарядах, сановные господа в орденах и лентах, иногда – хорошенькие, будто ангелы, господские дети. Но чтобы баба, простая баба смотрела на неё с портрета – такого никогда не было. Не могла она никак понять, почему это вздумалось Иванову её изображать: добро бы писать портрет было больше не с кого, а то ведь свободно мог директоршу увековечить, угодил бы только, сколько раз директорша об этом просила. Правда, тоща мадам Шиллинг, и лицо у неё, точно ситец линиялый, зато платья какие носит! Мог бы с директорской гувернантки портрет написать – она девица фигуристая и на личико пригожая. А он, непутёвый, кухарку выбрал, простую бабу, в простой, вовсе не праздничной одежде, да ещё за работой её показал, когда она крупу дерёт. Дело привычное, а смотрит она с портрета растерянно и удивлённо, будто работа эта впервые её досталась, и не знает кухарка бедная, как к ней подступиться.

А ведь и на самом деле она так смотрела на учителя рисования, когда он один раз, а потом и другой заявился со своей тетрадкой на кухню, по-другому смотреть на него стала уже много позже. Зазвал её как-то Николай Степанович к себе на квартиру, вроде бы для того, чтобы она помогла по хозяйству. А на квартире у него в ту пору собралось человек пять господ, картину какую-то рассматривали.

– Ну вот, господа, моя натура, – сказал Николай Степанович и легонечко подтолкнул её к картине, – прошу любить да жаловать.

– Хороша натура, хороша-с, – зачмокал седенький старичок, учитель греческого. – Вам бы, Николай Степанович, Данаю с неё написать или, на худой конец, Деметру, а вы, прошу прощения, батенька мой, её Кентавром изобразили. А вот ямочки на локотках вам, голубчик, безусловно удались. На портрете они едва ли не пикантнее, чем у природы.

Старикашка ткнул её в локоть острым пальцем. Остальные господа заухмылялись. Она досадливо отвела свою руку, сказала без всегдашней учтивости:



– Вы для работы звали, Николай Степанович, шутки шутить у меня времени нету. – И вышла, не стала слушать ни посулов, ни уговоров. А картину разглядеть успела. Была на этой картине, на портрете, она сама, Даша, простая баба, вдова, кухарка – не какой-то там Кентавр. И хоть отличалась она от той привычной, в зеркале, и не была красивее, но понравилась себе. Подумала с гордостью, что и Николаю Степановичу она нравится! Даже очень! Он же, видимо, всех простых баб перерисовать вздумал. С новой картины уже две молодки деревенские глядели, никому не известные, и старуха-чиновница из дома напротив. Эту картину в Петербург возил...

Даша накачивала старым сапогом в самовар воздух и поглядывала на непутёвого учителя. Тот скрылся было в глубине комнаты, но окна не затворил и через некоторое время уже опять сидел на подоконнике.

– Даша, Дашенька, подожди секундочку! – попросил он, когда она, подхватив самовар, пошла к дверям, будто не знал, что господа завтрака дожидаются, и задерживаться ей нельзя.

Иванову же не терпелось закрепить на холсте кратковременную необычность: крахмальное сверкание снега в сочетании с яркостью весенних красок. Он раскрыл этюдник и торопливо делал мазок за мазком. Но выходило совсем не то, что ему виделось, что он чувствовал. Не мог он передать на этюде поразившей его праздничности. Тяжёлой ношей, а не лёгким ажурным покрывалом выглядел на его вишнёвых деревьях снег. Утратил сверкание, утратил театральную недолговечность, сделался плотным и холодным. Зябко скрючились на нём махровые алые тюльпаны, поникли вдруг поседевшими головками.

До полудня провозился Николай Степанович с этюдом, а так и не добился, чего хотел. И настроение у него совершенно переменялось. Снег за окном уже не казался радостным сюрпризом: в самом деле, чего хорошего в столь позднем снеге, права Даша, жаль, если вишен не будет, напрасно комнату выстудил, погнавшись за иллюзией праздника, напрасно столько времени потратил зря...

А на мольберте его ждала картина, которую надлежало в ноябре представить в Академию художеств, чтобы получить звание назначенного. Оно да плюс ещё одна картина давали возможность претендовать уже на следующее, вождеделенное звание – академика.

Николай Степанович Иванов в 1840 году закончил Московский художественный класс. Учился весьма успешно. За успехи в рисовании и в живописи получил в своё время похвальный лист второго достоинства, позднее выставлял в Академии художеств этюды «Старуха с девочкой» и «Старуха, опирающаяся на палку». За них Иванову присвоили звание некласного художника, позволяющее преподавать в гимназии рисование и чистописание. Иванов воспользовался этим правом, не желая зависеть от отца, который был купцом и не одобрял художественных интересов сына. Стал зарабатывать на жизнь преподаванием в Рязанской мужской гимназии.

Рязанская гимназия существовала уже почти 40 лет, славились в московской округе своим хорошо подобранным учительским коллективом и директором Николаем Николаевичем Семёновым. Он слыл среди учителей и учеников человеком довольно демократичным, хорошо знавшим воспитанников, их склонности и даже посещавшим их семьи. Бывший военный, гвардии штабс-капитан, он, однако, не был солдафоном и невеждой, хотя и не отличался большой учёностью. Последнее дало повод императору Николаю, посетившему гимназию воскликнуть: «Ба! И ты, Семёнов, попал в учёные!» «В учёные», вероятно, Семёнов попал случайно. Проучился четыре года в кадетском корпусе, куда определил его отец, старый суворовский служака, и уволился из-за слабого здоровья. Но его военная карьера на этом не кончилась. Через пять лет с одним из братьев он поступил в Измайловский полк. Но не было известно его гимназическим коллегам, что заставило их директора вторично отказаться от военной службы. В Рязани же, как они думали, он оказался преднамеренно. Возможно, и директорствовать стал в гимназии только потому, что размещалась она в здании, где прошли годы его раннего детства.

Одним из первых в конце XVIII века поднялось оно на возвышенном берегу Лыбеди в Ямской слободе как городской дом помещицы Марии Петровны Семёновой, матери Николая Николаевича. Её отец Пётр Иванович Бунин был человеком в Рязани известным. Его имение Урусово считалось одним из красивейших и благоустроенных в губернии, а дети отличались тягой к искусству и талантами. У сына Петра Ивановича, Василия, в Москве собирались литераторы, художники и архитекторы. Младшая

дочь Анна писала стихи. «Российской Сафо» вскоре стали называть её в столице, а Карамзин говорил: «Ни одна женщина у нас не писала так сильно, как Бунина».

Да, знаменитая поэтесса Анна Бунина была родной тёткой Н.Н. Семёнова, а не менее знаменитый поэт Василий Жуковский приходился ему двоюродным дядей. Он был двоюродным братом Марии и Анны Буниных, незаконнорождённым сыном их дяди Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи. Жуковский остановился у Николая Николаевича Семёнова, когда, сопровождая наследника престола Александра в качестве его воспитателя, посетил Рязань. Случилось это событие до того, как Иванов обосновался в гимназии, но о нём всё ещё вспоминали там с удовольствием и гордостью. Прежде всего потому, что тогда отличился гимназист Яков Полонский. Готовясь к торжественному акту по случаю приезда высокого гостя, Семёнов поручил Полонскому написать стихи. Юноша с поручением справился, однако наследник престола от чествования отказался. Но усердие талантливого гимназиста не было напрасным. Семёнов показал стихи Жуковскому, и тот захотел лично выразить автору своё одобрение. Встреча начинающего поэта с маститым произошла в доме Семёнова. Позднее, когда гости уехали, Полонскому от имени наследника были вручены золотые часы.

Этот пример директорской поддержки юного дарования позволил Иванову надеяться, что директор не будет препятствовать тому, чтобы его подчинённый, учитель рисования, занимался творчеством.

Больше волновало художника то, как отнесутся к его непривычным для жителей провинциального города занятиям коллеги по гимназии, да и просто горожане. Он и в Москве стеснялся случайных зрителей, которые останавливались у него за спиной, когда он писал на улице, и, даже если молчали, всё равно оценивали его ещё не законченную работу. Но в Москве вид человека с мольбертом был всё-таки привычен, поскольку там находилось учебное заведение, обучающее способных юношей изобразительному искусству.

И как же был удивлён Иванов, увидевши в один из первых дней своего пребывания в Рязани, молодого мужчину, спокойно рисующего на улице. За его спиной никто не стоял. Иванов подошёл сзади, как подходили к нему самому в Москве, поздоровался и не услышал ответа. Повторил приветствие – и опять мужчина

промолчал. «Заработался, – подумал Иванов, – или хочет, чтобы я не мешал ему», – но сказал ещё что-то, вроде: «Простите, что помешал». И тут проходивший мимо мальчишка остановился и объяснил, что художник этот глухонемой.

Позднее Иванов узнал, что этот глухонемой, Михаил Степанович Бровкин, служит у губернского землемера «по чертежам», а в свободное время рисует акварелью портреты земляков и виды города, которые продаёт и помогает таким образом большой и бедной родительской семье.

Оказалось, что и сам землемер (тёзка Иванова по имени и отчеству) Николай Степанович Чернов увлечён изобразительным искусством и как живописец пользуется в городе известностью. Рязанские ценители сошлись во мнении, что особенно удалась ему картина «У заставы». Он запечатлел сцену из обычной городской жизни. С одной стороны улицы дома у заставы, мимо которых спешат прохожие; тройка усталых лошадей, везущих крытый возок; с другой – то ли поднимающийся, то ли ещё не опущенный после прохода тройки шлагбаум и гарцующий по направлению к нему всадник на резвом, радующемся движению и прогулке коне.

Иванов угадал в авторе картины такого же, как и он, приверженца Алексея Гавриловича Венецианова, его «натуральной школы», где предмет изображения – жизнь.

С лёгким сердцем принял Иванов и сам запечатлевать заштатную Рязань, да ещё в неказистую пору года, когда неясно, то ли это грустное предзимье с первым недолгим снежным покровом, то ли ранняя весна, и грязному снегу, обнажившему траурно-тёмные косогоры, опять же лежать недолго. Понуро бредёт лошадка с повозкой, преодолевают не поддавшиеся таянию сугробы какие-то согбенные людские фигуры. И небо по-осеннему хмуро и вот-вот разразится снегом. Но это всё-таки весна! Просто нет её в сердце художника. Откуда ей быть, когда он творчески не свободен. А для творчества (любого!) нужна свобода. Служба, не связанная с творчеством, свободы лишает и создаёт такие ситуации, когда за кисть и не возьмёшься.

У Иванова сложились хорошие отношения с гимназическим начальством. Под началом у Семёнова он прослужил пять лет. Потом Семёнова сменил Шиллинг. Тот и другой ничего не имели против занятий Иванова живописью, даже поощряли их. Но их благосклонность мало что Иванову давала. Служба отни-

мала много времени, оплачивалась же весьма скромно. Иванов получал самое низкое для преподавателя жалование – 900 рублей в год, тогда как учитель математики – 1375. Приходилось подрабатывать частными уроками, и это мешало ему заниматься живописью. Только через девять лет после окончания училища он обратился в Академию с просьбой выдать ему программу для участия в конкурсе на звание академика, при этом представлял на академическую выставку свою картину «Две рязанские крестьянки в их праздничных костюмах» – ту самую, что разочаровала Дашу.

На академической выставке в это время в основном демонстрировались копии картин мастеров эпохи Возрождения, выполненные русскими художниками в Италии по заказу Николая I, а также полотна, написанные на темы из древней истории и мифологии. Подобные темы всячески поощрялись академическим начальством. Да и не могло быть иначе: Академия художеств входила в состав Министерства императорского двора, и президентом её был зять царя герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

У широкой публики, однако, эти картины успеха не имели. Зрители толпились в предпоследнем зале у небольших полотен малоизвестного до этого художника Павла Андреевича Федотова. Годом раньше за картину «Сватовство майора» совет Академии присудил Федотову звание академика по живописи домашних сцен.

Эта картина демонстрировалась на выставке ещё с двумя, написанными раньше и значащимися в каталоге как «Разборчивая невеста» и «Следствие пирушки и упрёки».

Кое-кому из зрителей было известно, что «Следствие пирушки и упрёки» – далеко не то название, какое дал своей работе Федотов, что оно искажает смысл написанного, что прежде картина называлась «Свежий кавалер». На ней был изображён чиновник, удостоенный награды, на утро после грандиозной попойки. Босой, в халате и папильотках, он принял горделивую позу и хвастает своей кухарке орденом. Лицо у чиновника злое, тупое, чванливое – лицо хама, стяжателя и холуя.

И, глядя на это лицо, на эту нелепую напыжившуюся фигуру, многие из посетителей выставки думали: «Да, именно такие мерзкие натуры в чести у нашего правительства, именно таких у нас награждают. Groш – цена этим наградам».

Новое название картины не могло убедить публику, что художник имел в виду лишь человека, у которого с похмелья голова болит, и он не желает слушать упреков своей кухарки. На вышедших в свет литографиях с этой картины злополучного ордена на чиновничьем халате уже не было. Цензура сочла необходимым его убрать, а позднее вообще запретила печатать литографии.

Картина «Разборчивая невеста» была написана на сюжет одноимённой басни Крылова:

Чтоб в одиночестве не кончить веку,
Красавица, пока совсем не отцвела,
За первого, кто к ней присватался, пошла...

Иванову показалось однако, что Федотов вложил в полотно слишком много личного, что оно в некотором роде предупреждение какой-то отвергнувшей художника особе. Он не был одинок в своём предположении: там же на выставке молодая нарядно одетая дама, видимо, хорошо знающая Федотова, говорила в полголоса своему спутнику: «Вот бы никогда не подумала, что он такой злой, что он таким ужасным образом будет мстить отказавшей ему женщине». Спутник уверял даму, что сюжет картины лично к художнику не имеет ни малейшего отношения, и в доказательство привёл услышанные как-то слова Федотова: «Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви – к женщине и к искусству. Разве затем я должен принять её руку, чтобы оставить ей одни заботы и хлопоты, а самому вдали от неё вести ту жизнь, без которой я не могу вперёд двигаться».

Эти слова врезались Иванову в память. Тем более, с появлением разночинцев в сфере искусства и просвещения безбрачие всё чаще там заявляло о себе. Не столько потому, что молодые люди, занятые в этой сфере деятельности, не могли совмещать любовь к своей профессии с любовью к женщине, сколько оттого, что их доходы на службе не позволяли прокормить семью. Любовь в брачном союзе сделалась редким явлением. Браки заключались по расчёту. В картине Федотова «Сватовство майора или поправка обстоятельств» как раз иллюстрировалась одна из таких сделок.

Как и большинство молодых людей, Иванов влюблялся, мечтал о браке по любви и даже не исключал её в супружестве, возникшем по расчёту – недаром же существует пословица: «стерпится – слюбится». Да и пример Алексея Гавриловича Венецианова это подтверждал. Он женился на немолодой тверской дворянке Марфе Азарьевой и негаданно нашёл в жене друга и

сподвижника и полюбил её. Миниатюрный портрет супруги с двумя дочками даже поместил на свою палитру, чтобы всегда они были с ним. Тяжело пережил смерть жены от холеры, да так и остался вдовцом.

Порвав с прежней своей купеческой средой, Венецианов к ней уже не возвращался – ни в жизни, ни в картинах. А вот Федотову она была интересна. И на картине «Сватовство майора или поправка обстоятельств» он запечатлел момент появления в купеческом доме майора, желающего поправить свои обстоятельства. Майор стоит у открытых дверей, «толстый, бравый, карман дырявый, крутит свой ус: я, дескать, до денежек доберусь», а в гостиной радостный переполох. Купеческое семейство счастливо от возможности породниться с дворянином. Жеманная невеста ещё пытается сохранить необходимое, по её мнению, приличие и, демонстрируя испуг и даже протест, бежит из гостиной. При этом она не забывает придать своим движениям как можно больше изящества. Маменька на сей раз не одобряет такого притворства и, недовольная, удерживает дочь за оборку платья, а горничная насмешливо усмехается.

Эта картина особенно понравилась Иванову. Его поразило, что Федотов, недавний офицер, сын офицера, сумел так верно почувствовать и передать атмосферу купеческой семьи. Почему ему пришла на ум именно такая тема? Иванову же прежде казалось, что ничего интересного рассказать о купеческой среде нельзя, и он потратил время и силы на воспроизведение, в общем-то, ничего не значащей сценки: крестьянская семья предлагает выглянувшей из окна старушке дары леса. Правда, на крестьянках весьма колоритные рязанские наряды... Наряды-то его и привлекли, хотя он никак не хотел себе раньше в этом признаться и старался убедить себя и тех немногих знакомых, с мнением которых считался, что чуть ли не вступает в борьбу с художественной реакцией, сделавшей своим знаменем классицизм.

Возглавить борьбу, правда, он не помышлял, но считал себя безусловным последователем Венецианова, который первым из отечественных художников сделал основными действующими лицами своих картин русских крестьян, показал с большой душевной теплотой и симпатией высокие человеческие качества этих веками угнетаемых людей, открыл поэзию там, где никто до него не хотел её замечать. Никак не ожидал Иванов, что вскоре после гибели Венецианова Федотов заявит о себе как художник,

не только равный тому по мастерству, но и опередивший его на пути реализма, решившийся внести в живопись элементы социального обличения.

О картинах Федотова Иванов слышал ещё до академической выставки. Но разве можно рассказать о картине! Увиденное превзошло все ожидания. Там, на выставке, перед полотнами Федотова он понял – писать так, как раньше писал, нельзя, а потому мало огорчился, когда совет отклонил его просьбу об участии в конкурсе и не жалел, что потратился на дорогу. Но было обидно, что из-за своей всегдашней застенчивости не познакомился с Федотовым.

Заняться картиной Иванову в тот день так и не пришлось: его пригласили на обед к адвокату Сажину.

Дом Сажиных в городе был тем домом, где гостей потчуют не изысканными кушаньями, не редкими винами, а интересными встречами. Выйдя лет десять назад замуж за адвоката Сажина, богатая, но далеко не знатная девица Софья Игнатьевна задалась целью устроить у себя салон, не уступающий тому, что был у губернаторши. Злые языки говорили, что это ей не удалось. Среди собиравшихся у мадам Сажинной никогда не бывало тех, кто прежде был принят у первой дамы губернии. Сама Софья Игнатьевна объясняла это тем, что умышленно не приглашает к себе богатых и знатных людей, – собирает у себя лишь таланты, молодые дарования. И на самом деле, она умела распознавать таланты задолго до того, как о них узнавали в городе. Приглашение к Сажиным было первой ступенькой к общественному признанию, а потому так называемый салон Софьи Игнатьевны пользовался у молодёжи большой популярностью.

Одно время там часто появлялся Александр Васильевич Антонов, очень богатый молодой купец, пишущий стихи. Некоторые из них даже были опубликованы в столичном журнале «Сын Отечества», после чего поэта переманила в свой салон губернаторша. Помимо стихов увлекался Александр Антонов изобразительным искусством и знал в нём толк. Однако сам рисовать или писать не пытался, пристрастился к коллекционированию и для своего собрания приобретал работы у Бровкина и Иванова. Положил он глаз и на «Кентавра», да Иванов не хотел расставаться с картиной и поэтому, направляясь к Сажиным, он хотел, чтобы там не оказалось этого настойчивого коллекционера.

Его желание исполнилось. Народу на этот раз вообще пришло немного. Помешало ненастье. После полудня зарядил дождь, в полчаса превратив сверкающую белизну снега в отвратительное месиво. Промозглый ветер пробирал до костей. Извозчики куда-то подевались, а большинство приглашённых не имело своих экипажей, вот и появились только ближайšie соседи да родственники, не отличающиеся особыми талантами.

За столом между тостами много и скучно говорили о погоде, о затянувшейся весне, о видах на урожай.

Новые дарования, а их было только двое, не оправдали хозяйкиных надежд. Вместо ожидаемого настоящего мещёрского колдуна, Софье Игнатьевне удалось заручить лишь гастролирующего немолодого и малосимпатичного хироманта. Он не произвёл на собравшихся приятного впечатления уже потому, что желал гадать непременно юным девицам. Их было мало, и строгие маменьки запрещали им испытывать судьбу. Вдобавок он страшно шокировал дам, заявив, что лучших результатов достигает при гадании по линиям ступни. Охотников на столь рискованное гадание, кроме племянника хозяйки, не нашлось, но босая нога гимназиста выпускного класса не заинтересовала хироманта.

Второе дарование – черноглазая, темноволосая и не очень уже юная девица (хиромант не вызвался угадать её судьбу) тоже не внесла в общество оживления. Девушку давно уже все знали. Была она старшей дочерью разорившегося помещика Хвоцинского. Много лет жила с большой семьёй в Рязани на Семинарской улице. В последнее время в городе стало известно, что она пишет стихи, которые печатают даже столичные газеты и журналы. Мало того – не скупятся на комплименты ей.

– Представьте себе, – изумлялась Софья Игнатьевна на одном из своих собраний, – в «Литературной газете» говорится, что члены редакции были удивлены доставленными им стихами госпожи Хвоцинской, что они давно не читали на русском языке таких прекрасных звучных стихов. Представляете! Каково? А? И эти комплименты расточаются девушке, которую наше общество находит странной...

– Вернее сказать, сумасшедшей, – уточнил кто-то из гостей. – Разве нормальная женщина позволит себе всерьёз увлечься литературным трудом? Писать стихи – куда ни шло, но прозу. Да, да! Она взялась и за прозу.

По городу распространились слухи (и гимназию не обошли), что Надежда Хвоцинская сочинила роман. Ну пусть не роман, но повесть – несомненно, и она принята журналом «Отечественные записки» и будет опубликована в ближайшее время. Говорили, что повесть из рязанской жизни, герои её (какой ужас!) – вполне реальные лица.

Эти слухи и заставляли Софью Игнатьевну раз за разом, невзирая на оскорбительные отказы поэтессы, приглашать её к себе. Наконец та пришла, когда меньше всего её ожидали. Софья Игнатьевна была искренне рада: присутствие странной Хвоцинской украсило бы и салон губернаторши. Ведь, кроме того, что Хвоцинская стала писательницей, у неё ещё и дяди – генералы, кузины – фрейлины.

Хозяйка посадила за обедом долгожданную гостью рядом с собой и, восторженно сверкая на неё серыми глазами, засыпала вопросами. Писательница отвечала вполголоса со скромным достоинством и вообще держалась в высшей степени светски, так что ожидавшие от неё какой-нибудь эксцентричной выходки были разочарованы. Придирчивый глаз недоброжелателя, если был такой, не заметил за ней во весь вечер ни одной оплошности, ни одной несообразности. Правда, вскоре после неудачного дебюта хироманта она, уступая настоятельным просьбам, прочла малоподходящие к случаю стихи, в которых были такие строки:

Я отдам слезу и сожаленье

Тому, кто, наклонясь под игом и трудом,

Клянёт и труд, и жизнь, и разум, и терпенье,

Малютке бедному в лохмотьях под окном.

Хозяйка дома, однако, сделала вид, что ей стихи чрезвычайно понравились:

– Несравненная наша, как это чудесно! Как это гражданственно! Можно я вас поцелую? – и, не дожидаясь согласия, Софья Игнатьевна приложила пухлыми губками к смуглой щеке девушки. – Вы не откажете, душечка Надежда Дмитриевна, вы напишите мне эти чудесные стихи в альбом. Да, напишите? – И с необычной для своей пышной фигуры резвостью, шелестя сборками ярко-синей понёвы, Софья Игнатьевна устремилась в свою комнату за альбомом.

Мадам Сажина одна из первых в городе стала носить в качестве вечернего туалета стилизованный русский костюм. Теперь она была одета, как рязанская баба на картине Иванова, только

вместо кички её замысловатую причёску украшала цветущая ветка олеандра. Костюм Софье Игнатьевне не шёл: старил, делал грузной, простил, да и выглядел нелепо среди изящных платьев. Но она не боялась себя уродовать в угоду моде.

Как только хозяйка вышла, молодёжь затеяла в зале кадрили. Вслед за молодёжью туда перешли все маменьки, а не танцующие мужчины отправились в кабинет хозяина. Иванов остался один в пустой гостиной, Хвоцинскую, которая пыталась дожидаться хозяйку, пара бойких молодых людей тоже увела в зал.

– Хорошенькое дело! – с наигранным возмущением сказала, входя, Софья Игнатьевна. – Я перерыла весь дом в поисках альбома, а Надежда Дмитриевна исчезла. В таком случае вы, милостивый государь, сейчас же нарисуете что-нибудь в альбом. – И она с удивительным проворством вынула из выдвинутого ящичка маленького стола коробку карандашей.

– Но здесь не та обстановка, – начал отказываться Иванов, – и время ограничено...

– Не принимаю никаких отговорок и ухожу, чтобы вам не мешать. А что до времени, – она улыбнулась, – то его определяет сюжет.

Софья Игнатьевна вышла, а Иванов стал с досадой небрежно листать альбом, не предполагая увидеть в нём что-нибудь интересное. Подобные альбомы были почти у каждой городской женщины их круга. В них писались обычно какие-нибудь душещипательные стишки, вроде «Певуньи птички», афоризмы о любви, модные песенки, рисовались целующиеся голубки и пламенеющие сердца.

Альбом Софьи Игнатьевны оказался совершенно иным, видимо, она не давала его кому попало. В нём были хорошие стихи столичных и местных поэтов, ноты романсов Верстовского и Дюбюка, тонкие акварельные рисунки, изящные остроумные карандашные наброски.

Один рисунок изображал, по-видимому, Чичикова с дамой приятной во всех отношениях и дамой просто приятной. В одной из них нетрудно было узнать хозяйку дома. Иванов вспомнил, что дамой приятной во всех отношениях называют в городе Сажину. «Уж не Боклевскому ли она обязана этим прозвищем? – подумал Иванов с удивлением: он не знал, что художник вхож в салон мадам Сажинной. – И этого пронского затворника Софья Игнатьевна приручила. Ловкая дама – ничего не скажешь. Те-

перь на художницу Дубовицкую нацелилась. Но та, говорят, совершенная монахиня, из своего имени – ни ногой». Иванов продолжал рассматривать рисунок. Был он выполнен не вдруг: скорее всего, представлял одну из проработок заинтересовавшей художника темы и обращал на себя внимание не только её своеобразным решением, но и необычной техникой исполнения. Сделанный свинцовым карандашом с растушёвкой, он отличался присущей обычно живописи объёмной лепкой формы, тонкой моделировкой светотени.

«Недаром же Боклевский занимался у прославленного рисовальщика Егорова», – с завистью подумал Иванов и тут же подавил это чувство: завидовать Боклевскому не стоило. Он знал, какая нелёгкая творческая судьба выпала на долю этого талантливого и очень красивого человека. Пётр Михайлович Боклевский был известной в городе личностью. Признавая его большой талант, далеко не все, однако, симпатизировали художнику. Некоторые считали даже его фигурой одиозной, человеком, использующим свой дар не на пользу, а во зло. Будучи одно время рязанским губернским секретарём, он в свободное от служебных обязанностей время занимался рисованием. Но, в отличие от добродушного мещанина Бровкина, дворянин Боклевский игнорировал городские пейзажи – предпочитал рисовать карикатуры не только на сослуживцев, но и на своё начальство и, конечно, нажил себе этим врагов.

Талант карикатуриста обнаружился у него рано, ещё во время его учёбы в рязанской гимназии. И если приносил ему тогда какие-то неприятности, то только от обиженных соучеников. Привыкшие же к различным и отнюдь не всегда безобидным шалостям своих воспитанников, гимназические учителя считали карикатуры на себя не более чем забавными, остроумными, а шаловливого ученика очень способным к рисованию и рекомендовали ему серьёзно заняться изобразительным искусством, хотя он обнаруживал несомненные успехи и в математике. И после окончания Рязанской гимназии в 1834 году юноша по настоянию родных поступил на математическое отделение Московского университета. Через год, правда, оставил его и перевёлся на юридическое (нравственно-политическое) отделение философского факультета, которое в те поры отличалось тем, что давало всестороннее образование и славилось своими преподавателями. В рисовальном классе университета Боклевский продолжил занятия

рисунком и акварелью. Учился он превосходно. Блестяще сдал выпускные экзамены, но звания кандидата прав не получил – был выпущен лишь действительным студентом. В сочинении на звание кандидата прав он рискнул выразить антикрепостнические идеи, чем привёл в ужас коллегия профессоров. Университет находился под наблюдением Третьего отделения и пользовался у императора дурной репутацией. Император Николай видел во всех студентах потенциальных бунтовщиков, никогда не посещал университета и даже никогда не ездил мимо него. Поводом для его неприязненного отношения к этому старейшему учебному заведению послужило так называемое дело Сангурова. Выпускник университета Сангуров организовал политическое общество, в которое входили студенты. Общество было раскрыто. Начались репрессии. Двенадцати сангуровцам грозила смертная казнь. К счастью, в последний момент император счёл необходимым проявить милосердие и отменил смертный приговор. Членов общества отдали в солдаты, Сангурова отправили на каторгу, в Нерчинский рудник. Это случилось в 1831 году, за три года до поступления Боклевского, а в год поступления было арестовано ещё несколько воспитанников университета и среди них Герцен и Огарёв.

Вот отчего смелые мысли выпускника Боклевского, да ещё выраженные открыто, на бумаге, так взволновали профессоров. Опасаясь прежде всего неприятностей для себя, они не представили в Министерство просвещения злополучного сочинения, возвратили его автору и предложили ему написать новое. Писать вновь Боклевский не стал, так и вернулся на родину после шести лет учёбы действительным студентом. Не будучи богатым, он должен был чем-то зарабатывать себе на жизнь. Был губернским секретарём, живя в Пронском уезде, занимал небольшие должности то выборного смотрителя запасных хлебных магазинов, то секретаря земского суда. Но не оставлял своего увлечения искусством: брал уроки рисования у прославленного рисовальщика профессора Академии художеств Егорова, для чего время от времени приезжал в Петербург из своего пронского имения. Потом переехал в столицу, поступил в Академию художеств, сторонним посетителем и стал заниматься у знаменитого Карла Брюллова, который некогда тоже был учеником Егорова. Пользоваться советами «великого Карла» ему, правда, довелось недолго. Неугомонный правдолюбец, Боклевский на сей раз осмелился

выступить против академической рутины, дерзнул нарисовать карикатуры на академических консервативных и невежественных профессоров, в довершение поссорился с самим Брюлловым – и прощай, Академия, прощай, Петербург. Опять губернское, проносное, захоластье, опять земский суд, опять конфликты с чиновниками и карикатуры на них. Добро бы только на них! Но Боклевский не побоялся сделать посмешищем города и самого губернатора Кожина. Он изобразил губернатора в разных видах: свиньёй, которую рязанские откупщики стараются соблазнить различными подношениями; разъярённым быком; палачом, держащим в правой руке секиру, а левой ухватившим за волосы коленопреклонённую женщину, олицетворяющую Рязанскую губернию. Естественно, подобные художества не могли способствовать чиновничьей карьере Боклевского, в городе прошёл слух, что на него заведено дело в Третьем отделении.

«Чему же Пётр Михайлович отдаст предпочтение, – думал Иванов, – карикатуре, портрету или, может быть, иллюстрации?» Он не сомневался, что служба в земском суде для Боклевского – дело временное и даже недавняя женитьба на любимой девушке не заставит его изменить искусству. Рассматривая интересный рисунок, Иванов едва не забыл, для чего ему дали альбом. Тягаться с Боклевским он не собирался, и Софья Игнатьевна очень кстати ему заметила, что время определяет сюжет, а потому появился ярко-красный тюльпан. Головка тюльпана слегка поникла под тяжестью упавшего на него снега.

Художник делал последние штрихи, когда в гостиную возвратилась Хвоцинская и села у столика.

– Как странно, – сказала она, глядя на рисунок, – что вы, Николай Степанович, увидели праздничность в стихийном бедствии. А мне, признаться, весь день не по себе от этого снега. Никакой красоты я в нём не заметила. Да и, по-моему, красота не должна быть губительной.

– Я с вами согласен, Надежда Дмитриевна: красота не должна быть губительной. Но мне нынешний снег как раз губительным не показался. Он был на вид таким тёплым, ну прямо как мех горностая.

– Мех горностая никогда не был тёплым, – засмеялась Хвоцинская. – Тёплый снег... Возможно. У меня же он вызвал некую грустную ассоциацию. – Она замолчала и некоторое время смотрела куда-то в угол своими огромными мрачными глазами.

Иванов смотрел на неё с профессиональной внимательностью. Овал лица у Хвоцинской был несколько широковат. И всё широковато было на самом лице: и нос, и чистый невысокий лоб, и разлёт тёмных прямых бровей, – а уложенные по моде над ушами волнистые волосы только усугубляли это впечатление. Ничего поэтичного не было во внешности этой ставшей губернской знаменитостью девушки. А вот глаза выдавали её одержимость и упорство....

– Лет пятнадцать назад, – прервала молчание Хвоцинская, – была ранняя, но затяжная весна. Только в начале мая начали распускаться деревья, появилась жалкая травка, но ни тюльпанов, ни нарциссов ещё не было. А я очень цветы люблю и за зиму по ним соскучилась. Всё в сад бегала смотреть, скоро ли расцветут. И вот как-то утром вижу: прямо перед задним крыльцом среди хилых стебельков муравы распустился удивительный цветок. Невысокий, вершка два высотой. Бледно-лиловый и по форме на веточку сирени похож. А ведь никто его там не сажал, и никогда я прежде подобных цветов не видела. До вечера любовалась им тайно: жадность какая-то меня обуяла – не хотелось, чтобы ещё кто-нибудь его увидел, а то и ненароком сорвал. А ночью вдруг снег повалил, как сегодня. Полдвора я наутро от него сама очистила, с родными перессорилась. Не хотели они верить в существование цветка. Не нашла я цветка и после того, как снег растаял.

– Странно, – сказал Иванов, – куда же он подевался? Может быть, его сорвал кто-нибудь из прислуги?

– В том-то и дело, что никто не рвал. Он исчез. Растаял вместе со снегом. Это ведь был не простой цветок, а волшебный. В народе он кукушкиными слёзками зовётся, по нему клады угадывают. Мне нянька сказала, что и я должна свой клад найти. Кажется, уже нашла...

Хвоцинская говорила без тени улыбки, Иванов не мог понять, всерьёз она говорит или шутит.

– Это что же, шутка, Надежда Дмитриевна? – спросил он обескураженно.

Она не ответила на вопрос и сама всё так же серьёзно спросила:

– Вы в колдунов верите, Николай Степанович?

– Почему вы об этом спрашиваете? – удивился Иванов. – Я не суеверен.

– У нас же в губернии вера в колдунов огромная, особенно в Мещёрской стороне. Даже люди образованные ей подвержены. Я подозреваю, – она наконец улыбнулась, – сегодня часть приглашённых не пришла из-за боязни с колдуном встретиться.

– А вы не иначе, как из-за колдуна пришли, – пошутил Иванов, – раньше-то Софья Игнатьевна никак не могла вас зазвать.

– Отчасти. А если серьёзно, надеялась Надежду Александровну Дубовицкую увидеть. Мы договорились здесь встретиться. Кстати, вы всё ещё с ней не знакомы?

– Повода не было нанести ей визит и возможности встретиться с ней у каких-нибудь общих знакомых. Да и мало общих знакомых у меня с этой аристократкой. К тому же, говорят, она затворница, монахиня в миру.

– Аристократкой! Вот уж как не подходит Наде это определение. И насчёт затворничества – выдумки. Неделю назад она приезжала в город, в аптеку, ко мне заходила.

– Сама в аптеку? Я слышал, у неё личный врач есть.

– Повода искала с вами познакомиться. Я ей столько о вас рассказала...

– Ну что можно обо мне рассказать? – смутился Иванов.

– Что вы хороший художник, ученик Тропинина. Что не достигли до сих пор известности Венецианова только потому, что сидите в нашей глуши без средств и не можете лишний раз в Академии художеств показаться из-за этого. Намекнула, что не грех бы вам в этом помочь. Вон ведь её братец содержит каких-то студентов-медиков. А творческому человеку тем более помогать надо... Я думаю даже, что художников и поэтов, вообще, общество должно содержать, как содержит сейчас духовенство.

– Ну это вы напрасно. Негоже нам на подаяние жить, когда наши произведения – всё-таки товар. Ведь торгуем мы ими, Надежда Дмитриевна, не правда ли?

– И много вы своих картин продали? – запальчиво спросила Хвоцинская.

– Нет, немного, оттого время и силы в гимназии трачу. И, знаете, – сказал доверительно, чего не говорил ещё никому, – стесняюсь свои картины продавать, стыжусь. А ведь в отцовской лавке торговал вполне успешно. Но там другое дело: купец – вроде посредника между покупателем и тем, кто товар производил. А тут...

– Я понимаю вас. Когда вышли журналы с моими работами, я несколько их привезла. Не затем, чтобы похвалиться, а для того, чтобы их продать. И не смогла. Впрочем, даже люди вполне обеспеченные не подумали у меня их купить. Но очень многие хотели получить их в подарок. Присылали прислугу с записочками-просьбами и те, кто прежде снисходительно насмеялся над моими занятиями. В общем, моя торговая сделка не состоялась, – весело сказала Хвощинская. – Зато меня теперь приглашают в гости как знаменитость, наряду с мещёрским колдуном. Вот и сегодня пригласили ещё в два места. И одно приглашение, представьте, было от губернаторши.

– Значит, ваше появление здесь ещё и маленькая месть первой даме губернии?

– Отчасти. Я придерживаюсь правила не принимать приглашений от тех, на чей ответный визит нечего рассчитывать. А здесь мне давно хотелось побывать. Я слышала, что у Софьи Игнатьевны собирается интересное общество. Но и тут всё так обычно...

– Смею вас заверить, – горячо возразил Иванов, – это только сегодня, видимо, из-за погоды. А так гостиная Софьи Игнатьевны – действительно единственное в городе пристанище незаурядных людей.

– Ах, как приятно это слышать! Простите, до меня донёсся кусочек вашего разговора, – разгорячённая танцами Софья Игнатьевна подошла к столику. – Надеюсь, дорогая моя, вы с сегодняшнего дня станете украшением этого пристанища. А что тут изобразил наш уважаемый художник?

Иванов протянул Софье Игнатьевне альбом.

– Очень мило! Очень! – с преувеличенным восхищением похвалила она и тут же спросила с тревожным подозрением: – Это что же, аллегория?

– Нет, это просто напоминание Николая Степановича о нынешнем снеге, – успокоила хозяйку Хвощинская.

– В таком случае, Николай Степанович, вы свободны. Вас ждут в кабинете. Ах, представьте, мой друг, – продолжала Софья Игнатьевна, уже обращаясь к Хвощинской, – господин хиромант заснул там на диване, а до этого, ха-ха, а до этого – он всё-таки гадал Сержу по босой ноге.

В кабинете было накурено и очень холодно. В растворенные окна врывался ветер, трепал и гасил пламя свечей, шелестел какими-то бумагами на письменном столе, но никто не обращал на это внимания.

За карточным столом играли в покер. На полукруглом диване управляющий Палаты государственных имуществ Андреев и племянник хозяйки, великовозрастный гимназист, лениво переставляли по лежащей между ними доске шахматные фигуры. За спинами у шахматистов, скорчившись, спал хиромант.

– Явился наконец дамский угодник! – встретили Иванова радостными возгласами. – Признавайтесь, какая брюнеточка сделала вам загвоздочку?

– Представьте, господа, не одна брюнеточка, а даже две, – отвечал Иванов, садясь на диван. – Сначала рисовал в альбом Софье Игнатьевне, потом беседовал с Софьей Дмитриевной.

– Ну и как вы находите нашу несравненную поэтессу? – с усмешкой осведомился хозяин.

– С Надеждой Дмитриевной, – отвечал очень серьезно Иванов, стараясь не допустить дальнейших шуток, – я был прежде знаком, но, как говорят, шапочно. По-моему, она очень умная и милая девушка.

– Смотрите, голубчик, не влюбитесь, – шутливо предостерег доктор Левицкий, часто бывавший в доме Хвоцинских, – Надежда Дмитриевна принципиально против брака. Она считает, что женщине, если она желает в жизни чего-то достигнуть, нельзя выходить замуж. И, как видите, свою теорию успешно осуществляет: досидела в девицах почти до тридцати лет.

– Ну, батенька мой, это всё слова, – возразил товарищ прокурора, худой старик с сизым носом. – Кто бы её, голубушку, взял без приданого при таком состоянии дел её папеньки? Ведь в течение десяти лет ему грозила тюрьма. Если помните, он обвинялся в растрате казённых денег. Теперь, правда, шансы барышни Хвоцинской несколько повысились. Может, кому и лестно будет взять за себя писательницу.

– Николай Степанович, упаси вас Боже! – понизив голос, взволнованно, будто речь шла уже о почти решённом, заговорил хозяин. – Упаси вас Боже жениться на пишущей женщине. Умная женщина – горе, а пишущая – у-у-у! – И не найдя слов, он покрутил костлявым кулаком перед собственным носом. Опыт жизни с умной женщиной у него был.

– Э, да не страшайте вы Николая Степановича, – остановил хозяина Левицкий, – вероятнее всего, у Хвоцинской все эти выдумки с поэзией – что-то вроде приманки. У одних дам – красота, у других – наряды, третьи вон соловьём разливаются.

В зале в это время кто-то пел красивым контральто:

Ночной зефир

Струит эфир,

Шумит, журчит

Гвадалквивир.

– А сама и знать, небось, не знает, что это такое – Гвадалквивир, – заключил он.

– Женщина – зло, – подал вдруг голос хиромант.

– И это говорит тот, кто охотно пожимает дамские ручки! – воскликнул Сажин, все засмеялись.

– Господа, господа! Позвольте мне по этому поводу анекдот, – торопливо проговорил гимназист. – У анекдота, возможно, седая брода, но он, право, к месту. – И, не дожидаясь согласия слушателей, начал, похохатывая, рассказывать:

– Один помещик в юности, должно быть, пострадал от прекрасного пола. Потому своего единственного сына воспитывал в строжайшей изоляции от женщин. До шестнадцати лет сын не видел их, как говорится, ни во сне, ни наяву. Но вот исполнилось ему шестнадцать, и папенька повёз его в город. А там по улицам дамочки разгуливают, одна другой краше. Молодой человек пригляделся к ним и спрашивает папеньку: «Кто это такие хорошенькие?» Папенька отвечает нехотя: «Это такие чёртики». – «Ах, прелесть какая! – восхитился сын. – Купи скорее мне парочку!».

– Я слышал, дело в магазине было, – солидно заметил хиромант.

– Всё-таки было, было! – обрадовался гимназист. – Так, стало быть, анекдоты из реальной жизни берутся. Так, стало быть, и мы, господа, можем анекдот сочинить?

– При желании и некоторых способностях, – улыбнулся Андреев, а картёжники уже опять принялись за карты. – Вот вам, к примеру, случай, что на днях произошёл в сиротском пансионате. Попробуйте из него сделать анекдот. Ученик сиротского училища приготовил под руководством Горюшкина к экзамену рисунок со статуи Венеры Медицинской.

– Однако и нравы в училище! – засмеялись за карточным столом.

– Этот выбор, конечно, несколько странен, но в оправдание учителю Горюшкину скажу, что он так же чист сердцем, как и его ученик. К тому же на бёдрах Венеры, если помните, драпировка. А простодушие пансионного начальства простёрлось до того, что рисунок показали посетившему экзамен архиепископу Гавриилу. Только нашли, что неприлично показывать ему языческую богиню, и переименовали её в Еву. Владыка осмотрел рисунок, одобрил и, обращаясь ко мне, сказал: «Андрей Осипович, где же Ева-то полотенце взяла? Что-то не припомню, чтобы в раю были полотенца».

– А что, – спросил Иванов, когда смолк хохот, – рисунок на самом деле был хорош?

– Очень! Я собирался зайти к вам, чтобы посоветоваться относительно мальчика. Но, может быть, поговорим сегодня по дороге домой, если у вас нет более интересного попутчика?

Такого попутчика не было.

На улице заметно потеплело. Дождь прекратился. Сквозь поредевшую толщу облаков желтела луна.

Иванов с Андреевым, лавируя между лужами, шли по мостовой в надежде перехватить извозчика. Изредка им попадались экипажи, прижимали к обочине, обдавали грязью, и ни одного не было свободного.

Андреев негромко рассказывал о юном художнике, а ночное эхо усиливало голос, катило его впереди идущих по гулким пустынным улицам, дразня дворовых псов.

В какие-то десять-пятнадцать минут перед Ивановым прошла трагическая, но, в общем-то, довольно обычная жизнь крестьянского мальчика. Ване Пожалостину, так звали мальчика, было тринадцать лет, родился он в семье государственного крестьянина Петра Устиновича Храпова в селе Яголдаево Ряжского уезда. В раннем детстве лишился отца, некоторое время воспитывался в семье деда со стороны матери. По прозвищу деда, человека необычайно вежливого, любившего кстати и некстати употреблять слово «пожалуйста», получил фамилию Пожалостин. После смерти деда недолго жил у отчима. Вскоре умерла от холеры его мать. Мальчика приютила тётка, у которой было своих трое детей. Жило её семейство очень бедно, «едва кормились», и мальчик узнал все тяготы сиротства: в поисках заработка ходил по деревням, водил слепых, пас гусей, был в услужении у свя-

щенника в селе Ухолово. В сиропитательное или круглосиротское училище попал по чистой случайности. Андрей Осипович Андреев, управляющий Палатою государственных имуществ и попечитель училища, приехал в Яголдаево набирать сирот: заведение только открывалось. И хотя Ваня Пожалостин тогда мыкал своё сиротское горе в другом месте, сельский староста (крёстный Вани) назвал его.

– Знаете, – рассказывал Андреев, – меня поразило не столько то, что случилось с самим Ваней, хотя и больно было слушать, как он говорит смиренно, затвержено, словно урок: «Горемычное моё было житьё, истинно сказать, что есть было нечего». Потрясла меня страшная судьба его сестёр. После смерти матери никто не пожелал их взять к себе... Заразы, наверное, боялись? Малютки остались лежать в люльке без всякой пищи, пока не погибли от голода.

– Чему удивляться, Андрей Осипович? Лишний рот может поставить под угрозу жизнь собственной семьи. Смертность детская в деревнях, сами знаете, ужасающая, хотя к ней там привыкли: Бог дал – Бог взял. Пришлось мне как-то с одной старой крестьянкой разговаривать. Хотел её сына написать – фигура великолепная! А она воспротивилась: «Не смей – он у меня один-разъединственный, вдруг да сглазишь». Я подивился, отчего это у неё «разъединственный». «Шестнадцать их всего у меня было, да все маленькими поумирали, – ответила совершенно спокойно старуха. – Этот жив остался, потому как осенью родился». Спрашиваю: при чём тут осень. Старуха и объяснила очень разумно: осенью полевых работ уже нет, ребёнок до весны при матери окрепнуть успеет. Тех же, кто весной или летом рождается, приходится оставлять одних на целый день. А если и в поле с собой возьмёшь, то всё равно не до него там, всё равно целый день молока не видит. «Хлебушка, – говорит, – нажужёшь ему в тряпицу, он, родимец, весь день эту тряпицу и тянет». Вот так-то, дорогой Андрей Осипович, когда до собственного младенца руки не доходят, где уж тут о чужом думать.

– Да, конечно. И всё-таки, согласитесь, подобный эгоизм ужасен, хотя его и можно объяснить тем, что на карту ставится собственная жизнь или жизнь родных. Но ведь и у нас в городе, где нет такой острой борьбы за существование, он едва ли не страшнее. Да и проявляется в самых неожиданных ситуациях, доходит до абсурда. Не далее, как сегодня, услышал я такой

разговор двух богобоязненных особ. Одна рассказывала другой, что её сосед спился и всё пытается удавиться, а тут она его давеча увидела у своего дома под черёмухой. И вот вам почти дословная её тирада: «Ох, батюшки мои, думаю, а что, если он, горемычный, да на черёмушке моей удавится, ведь тогда её, черёмушку, спилить придётся!»

– Н-да, это философия, – усмехнулся Иванов.

Они подошли к закрытым воротам гимназического двора. Иванов подумал, что придётся долго стучать, и раньше сторожа проснётся директор и завтра будет смотреть косо, и что Андреев неспроста завёл разговор о мальчишке: станет просить позаниматься с ним.

И, действительно, Андреев вернулся к прерванной теме.

– Позвольте мне задержать вас, Николай Степанович, – сказал он смущённо, – я коротко, в двух словах, – и продолжал, торопясь: – Мальчику этому, Ване Пожалостину, не с кем теперь заниматься рисованием. Нашёл, было, я ему учителя, очень, знаете ли, приличного рисовальщика, да он оказался беглым крепостным. Барин его разыскал и водворил на место. Пришлось мне специально для одарённого мальчишка организовать в училище рисовальный класс. Думал, надеялся, что ещё найдутся желающие в нём заниматься. Вызвались четверо. Но успехи этих учеников, увы, не соответствуют их охоте рисовать. Вот и плачу я Горюшкину из собственного кармана по пять рублей ежемесячно за одного ученика. Но дело не в деньгах, а в том, что, боюсь, загубит Горюшкин Ванин талант, сделает из него заурядного копииста. Я не дока в делах художественных, но думаю, нельзя заставлять ученика бесконечно срисовывать картинки. Ну я подумал, подумал и решил вас просить, Николай Степанович...

– Нет, пожалуйста, увольте, – перебил Иванов, – я не могу: мне надо осенью картину представлять в Академию. Да и частных уроков предостаточно – весь день расписан.

– Вы меня не поняли, оттого что не дослушали, Николай Степанович.

– Простите, – буркнул Иванов.

– Я хотел заручиться вашим согласием – заниматься с мальчишкой в гимназическом классе во время уроков, а потом уже просить на это разрешение у директора.

– Так вот что! Это другое дело! – у Иванова отлегло от сердца. – Я ничего не имею против и сам поговорю с директором.

– Нет уж, предоставьте это мне! – Андреев был очень щепетильным человеком. – Думаю, что располагаю более вескими доводами, нежели вы. Я покажу господину Шиллингу копию своего письма министру государственных имуществ графу Павлу Дмитриевичу Киселёву, где прошу его сиятельство обратить внимание на опыты в рисовании воспитанника Пожалостина. Письмо я отправил в конце апреля. Ну как?

Иванов только развёл руками и довольный, что ему не пришлось отказать, проводил Андреева до его дома.

Андреев не сказал Иванову, что в том же письме от 29 апреля 1852 года он ходатайствовал перед министром о наименовании нового, основанного двумя годами ранее, рязанского учебного заведения «Центральным Зотиковским Сиропитательным училищем». Со святым Зотиком училище связывала дата его основания, 30 декабря.

Ходатайство было удовлетворено, но над Андреевым неожиданного для него и его окружения сгустились тучи. Ему вдруг было предложено подать в отставку по несуществующей болезни. Он ездил осенью в Петербург объясняться, но переменить решения начальства не смог.